

Александр Валентинович Амфитеатров

Деревенский гипнотизм



Александр Амфитеатров
Деревенский гипнотизм

«Public Domain»

1897

Амфитеатров А. В.

Деревенский гипнотизм / А. В. Амфитеатров — «Public Domain»,
1897

«Лето 188* года я провел на Оке, в имении Хомутовке, в гостях у приятеля-помещика. Звали его Василием Пантелеичем Мерезовым. Он был много старше меня годами и опытом. Когда-то предполагал иметь порядочное состояние. Но половина последнего погибла, потому что Мерезов не занимался хозяйством, а другая половина – потому что Мерезов стал заниматься хозяйством...»

Содержание

| | |
|----|----|
| I | 5 |
| II | 14 |

Александр Амфитеатров

Деревенский гипнотизм

I

Лето 188* года я провел на Оке, в имении Хомутовке, в гостях у приятеля-помещика. Звали его Василием Пантелеичем Мерезовым. Он был много старше меня годами и опытом. Когда-то предполагал иметь порядочное состояние. Но половина последнего погибла, потому что Мерезов не занимался хозяйством, а другая половина – потому что Мерезов стал заниматься хозяйством.

– Милый Саша, – говорил он мне, когда я умру, начертай над моей могилою: «Здесь покоится прах дворянина Мерезова, погибшего жертвою многопольной системы и усовершенствованного молочного хозяйства; он вышел невредим из лап парижских кокоток, но пал под бременем агрономических улучшений. О нем плачет Россия и фирма „Работник“, напрасно ожидающая уплаты за молотилку, веялку, три плуга латкинские и один Сакка. Прохожий! если ты кредитор, почти вздохом прах его и разорви свой исполнительный лист: описывать у Мерезова нечего».

Не имея средств жить в Москве, Мерезов безвыездно сидел в своем углу, спасенном для него от общего разгрома милейшим старичком-родственником, который с тем и купил на аукционе дом и клочок земли, чтобы предоставить их в пожизненное пользование Василию Пантелеичу. Угол был поистине медвежий. Я нашел Мерезова сильно одичалым и в хронически удрученном настроении какого-то мрачного шутовства.

– Как же ты, Василий Пантелеич, поживаешь? Что подельываешь?

– Обыкновенно, голубчик, что делают на дне колодца: захлебываюсь.

– Скучно?

– Гм... то-то и скверно, что не скучно.

Мерезов значительно посмотрел на меня и продолжал, приложив палец к носу:

– Царь Навуходносор не скучал в своей жизни ровно семь лет. Однако в эти семь лет он был не царем на престоле, но, в качестве убойной скотины, пасся на подножном корму.

Перестреляли мы с Василием Пантелеичем сотни две куликов, выудили сотню окуней. Да! здесь не скука – хуже: одурь.

– Давай, Вася, выпишем хоть «Русские ведомости».

– Зачем?

– Будем следить за Европой.

– Она! это – из Хомутовки-то?!

– Когда я уезжал из Москвы, Бисмарк ладил тройственный союз. Интересно, осуществится или нет?

– А тебе не все равно... в Хомутовке?!

Дом у Мерезова был огромный: мы терялись в нем как в пустыне. Ответшал он страшно. Полы тряслись и стонали под ногами; мыши, крысы; с потолков сыпалась штукатурка, обои облохматились, у половины дверей не хватало замков и скобок, – кем скраденных – Мерезов не доискивался.

– Весьма может быть, – объяснял он, – что мои министры в одну из безденежных полос, чтобы меня же накормить обедом.

Министрами Мерезов звал стряпку Федору, горничную Анюту и кучера Савку, – он же егерь, рассыльный, камердинер... чего хочешь, того просишь: молодец на все руки. Кроме их трех, при доме проживал, неизвестно по какому праву и на каком положении, «государствен-

ный совет»: две увечные старухи и три старика. Один величал себя садовником, хотя у Мерезова не было сада, другой – скотником, хотя из трех мерезовских коров ни одна не подпускала его к своему вымени, третий – сторожем, хотя, – говорил Мерезов:

– Кроме добродетели, и в рублище почтенной, у нас сторожить нечего!..

Все три старца хорошо помнили, как через Хомутовку везли в Москву из Таганрога тело императора Александра Павловича. Старухи были еще любопытнее. Хромая Ульяна уверяла, будто она выкормила и вынянчила Мерезова, который, однако, отлично помнил, что няньку его звали Василисою, а кормилицы у него не было вовсе. Лизавета, неизлечимо скрюченная мышечным ревматизмом, не приписывала себе никаких чинов, но просто заявляла:

– Не околевать же мне, больному человеку, под забором: не пес я.

– Желал бы я знать, – недоумевал Мерезов, – чем кормится эта босая команда? Я не даю им ни денег, ни пайка. Враны с небеси хлебов им не носят. Тем не менее старики не мрут, скрипят и даже, по-видимому, сыты, потому что не бегут со двора, и наемни скотник Антип выражался весьма презрительно о дармоедах, которые побираются под окном... Кстати: есть у тебя рубль? Дай мне, потому что по двору шествует Федора, и я предчувствую, что у нее опять черви съели говядину.

Министры Мерезова вели себя конституционно до отчаяния. Пороку мы почти недоумевали: кто у кого служит – они у нас или мы у них? Барина любили, были ему преданы, но в грош не ставили его приказаний, вольничали, фамильярничали. Мерезов примирялся с этою распушенностью очень хладнокровно:

– Делать выговоры Савке бесполезно, ибо он по натуре коммунар, а по привычкам бродяга. Вступать в прения с Федорою еще бесполезнее, ибо она – Дионисий, тиран сиракузский. Анютка же имеет слабость мнить себя подругою моей холостой жизни, и я не смею поражать ее чувствительное сердце жестокими словами. Тем более что на каждое мое слово у нее двадцать своих, и потом она ходит по трое суток с физиономией надутою, как воздушный шар.

Анютка страдала манией уборки комнат: она с утра до вечера топотала по дому босыми ногами, носясь, как ураган, с веником и мокрою тряпкою, – и все-таки всюду оставалось грязно и сорно.

– *Ut desint vires, tarnen est laudanta voluntas!*¹ – одобрял Мерезов.

Я решительно не мог взять в толк его любовного приключения с этою девицею, правда, статною и, должно быть, до оспы недурною с лица, но теперь рябою, как решето. На высказанное мною однажды недоумение Мерезов возразил довольно мрачно:

– Ты пьешь водку?

– Прежде не пил: здесь у тебя научился.

– Ага! А между тем теперь лето. Запереть бы тебя в Хомутовке на зиму, когда сугробы нарастают вровень с окнами и волки приходят к воротам петь Лазаря... понял бы и не такое!

Несчастьем Анюткиной жизни были юбки, обладавшие волшебным свойством сползать с бедер своей злополучной владелицы как раз в самые ответственные моменты ее служебной деятельности. Подает Анютка обед, – предательница-юбка уже расстегнулась и лезет вниз. Анютка взволнованно дергает локтями, в тщетном старании привести в порядок свои одежды. Котелок со щами катится по полу. Мерезов оптимистически замечает:

– Хорошо, что у меня описали столовый сервиз, и это не фаянсовая ваза.

Кухнею деспотически управляла стряпка Федора, из солдатских вдов, – «мирской человек», румяная баба, еще молодая, но чудовищной толстоты; Мерезов звал ее «вторым спутником земли в своей собственной атмосфере». От Федоры на пять шагов пыхало жаром кухонной печи. Когда в духе, – хохотуха и скромница, под сердитую руку – брех. Почти каждое утро она делала нашествие к нашему чайному столу и звонко орала:

¹ Пусть не хватает сил, но желание все же похвально (лат.).

– Пожалуйте денег!

– Федора, – морщился Мерезов, – когда придет доктор, я попрошу освидетельствовать тебя, не переодетый ли ты протодьякон.

Федора фыркала и вылетала бомбою за дверь, чтобы отхохотаться на свободе, но, по возвращении, настаивала:

– Денег пожалуйста. Говядины ни синь-пороха.

– Но еще нет недели, как Савка привез из города полтора пуда?

– А льду он привез ли? – азартно прикрикивала Федора. – Гляньте в погреб: одна вода. Говорила по зиме, чтобы поправить крышу, – не послушали. Нешто у нас – как у людей? А теперича, что покупай убоину, что нет, – одна корысть: червей кормить. Благодарите Бога, что Галактион привез нонче тушу с ярмонки из Спасского, не то насиделись бы голодом до городского базара. Пожалуйте денег.

– Спроси у Анютки. На днях я субсидировал ее пятью рублями.

– Когда это было? – отзывалась Анютка, – под Вознесенев день, а у нас завтра Троица. Да сами же, опомнясь, взяли у меня рупь семь гривен – продули доктору в стучолку.

– Анюта, ты меня убиваешь, хотя точная отчетность твоей кассы достойна уважения. Остается одно – совершить заем у дружественной державы. Саша, раскошеливайся.

Если у меня не было денег, Мерезов трагически восклицал:

– Министры! убирайтесь к черту! Государство – банкрот. Кормите вашего повелителя плодами собственной изобретательности.

Тогда Федора поднимала на ноги всех домочадцев: «государственный совет» *in corpore*² ползал в Оке, выдирая из береговых подмоин тощих раков; Анютка металась по двору, в крапиве, пытая сонных наседок, не снесла ли которая яйца, на наше счастье; сама Федора копала в огороде какие-то сомнительные корни и травы или, с подойником на плече, летела в стадо; а Савка являлся ко мне с ружьем и ягдташем.

– Гуляем, что ль, Лексан Лентинич? Приказывает Федора, чтобы непременно раздобыть ей к обеду болотного быка.

Калек сира Эдгарда Равенсвуда вряд ли равнялся Савке в находчивости, когда ему предстояла задача напитать как-нибудь и безденежных господ и себя. Однажды, в такую тощую пору, приводит он к обеду гостя, великовозрастного гимназиста из недалекой усадьбы. У Мерезова вытянулось лицо: чем мы накормим этакого парнищу? Я набросился на Савку:

– Ты с ума спятил?!

– Очень даже в уме, Лексан Лентинич. Потому, шагал я по болоту три часа, не вышагал ни бекаса, – вот оно, ружье: неразряженное. А навстречу – этот долгоногий, полон ягдташ. А мне наемни сказывал ихний кучер: очень, говорит, желательно нашему барчуку свести компанию с вашими господами. Я сию минуту картуз долой: ах, говорю, сударь! а я было правил к вам в усадьбу: Василь Пантелеич и Лексан Лентинич приказывали бесприменно звать вас к обеду. Он – на большом удовольствии – и высыпал мне, в презент, всю свою сумку полностью. Мне того и надо. Я – дичь в ягдташ да к Федоре.

Мерезов был мастер на карточные фокусы. Савка это знал. Заночевал у нас молодой гуртовщик, проезжий в губернию. Перед ужином уселись играть в рамс. Савка нет-нет заглянет в двери и все делает мне знаки. Я вышел:

– Что надо?

Савка зашептал:

– Вы скажите барину, чтобы того... не робел...

Он показал рукою, как делают вольты.

² В полном составе (лат.).

– Парень слепыш и ослица двукопытая: ничего не заметит. А денег с него грести можно сколько угодно.

Когда я крепко обругал Савку за его проекты, он не понял – за что? Он своим господам желает добра, и ему же достается!

Мерезов определял этого хитроумца то цитатой из «Сорочинской ярмарки»: «на лице его читались способности великие, но которым на земле одна награда – виселица», то некра-совскими стишками:

Гитарист и соблазнитель
Деревенских дур.
Он же тайный похититель
Индюков и кур.

– Ты бы, Савка, хоть с нами делился, – зубоскалил Мерезов. – Знаешь, Саша: этот ферт заполонил всех баб на деревне.

– Уж и всех! – самодовольно огрызался Савка, – куда мне их столько, добра такого?

– Глаза у тебя завидушие.

– Ничего не завидушие: я отобрал себе только какие с лица получше, а рябых – всех, как есть, вам оставил.

– Хвастунишка ты, Савка.

– Быль молодцу не в укор, Василь Пантелеич.

– Забыл, видно, как проучила тебя Галактионова Левантина? Представь, Александр: девка, обидевшись Савкиным ухаживаньем, пожаловалась братьям, а те залучили нашего Дон-Жуана к себе во двор, сняли с него одежду да и прогнали его через всю деревню до самой усадьбы вожжами по голому телу.

– Нашли кого поминать – Левантину! – равнодушно возражал Савка. – Левантина – разве девка? Идол; прямо сказать, статуя, стоерос бесчувственный. Пока ее из дуба обтесали, десять топоров сломано.

– Слыхал ли ты, Савка, про лисицу и зеленый виноград?

– Слыхивал. Насчет винограду кому-нибудь ровно бы надо погодить дразниться. К Левантине примазывались иные и почище нас, одначе и им пиковый антирес указан.

– Молчи, животное!

Из соседей-дворян Мерезов ни с кем не знался.

– Что за радость, – объяснял он, – смотреть на оскуделую голь? Кругом на сто верст ни одного порядочного землевладельца. Нищие с кокардами. Мне надоела и своя нищета – до чужой ли?

– Неужели не найдется интересных живых людей?

– То есть образованных, что ли? Вероятно, есть. Да мне-то что в них? Я сам образованный.

– Все же... общение мыслей, интересов...

– Это у нищих-то?! – Мерезов качал головою – У нищих, друг, не общение, но разоб-щение интересов, потому что у каждого смотрит из глаз свой голод, каждый зарится на кусок соседа. А у образованных и совестливых прибавь к этому еще тяжелую подозрительность: ах, не заметил бы гость, сохрани Боже, что мы не принцы, но санкюлоты, что мы шеголяем не в парче, но в ситцевых лохмотьях... Тоска!.. Притом того гляди – женят. Невест в уезде несть числа, и за каждую приданого – частый гребень, да веник, да алтын денег, было бы с чем в баню сходить. Есть хорошенькие. В здешней скуке – долго ли до греха? Я человек чувственный, слабый. И не заметишь, как Исайя возликует.

– Но почему бы тебе, в самом деле, не жениться?

– На ком? на образованной нищей – с попури из «Цыганского барона», с платьями по модам из «Нивы», с восторгами к господину Бурже в русском переводе, с мигренью, истериками, с еженедельными поездками в город к докторишкам и аптекаришкам? Покорнейше благодарю. Уж лучше, если приспичит жениться, я впрямь осчастливорю своею рукою и сердцем Галактионову Левантину, Анютку, Федору, любую девку с Хомутовки.

– Такая будет тебя бить, – засмеялся я.

– А я ее. По крайней мере, обоюдное удовольствие: род домашнего спорта. Образованная же нищая меня тоже побьет, – у нас в околотке все благородные супруги дерутся между собою, – а я не посмею побить ее. Ибо я воспитан в рыцарских преданиях, а она предполагается дамою, и всякое семейное безобразие извиняется ей по праву деликатной натуры, нежного воспитания, возвышенной души и расстроенных нервов. С Левантиною я хоть буду уверен, что, после какой угодно драки, мне все-таки сварят щи и что мои дети родятся без английской болезни. Ты только вообрази, какая пошлость – английская болезнь в русском захолустном ребенке! Очень может быть, что Левантина года через два после брака завопит, что я – распостылый и загубил ее, молодую; но она не будет требовать от меня, с ножом у горла, отдельного вида на жительство, а получив таковой, не потащит мою фамилию на подмостки столичного кафешантана. Тем не менее будем надеяться, что и сия брачная чаша, – то есть в образе Левантины, – меня минет!

Родитель этой Левантины – Галактион Комолый – держал в руках всю Хомутовку, посредничая между местными кустарями-токарями и губернскими скупщиками. В околотке звали его «купцом». Мы с Мерезовым часто ходили к Галактиону пить чай: он это любил – похвастать перед господами своей новою избою, с чистою горницею, под обоями, с царскими портретами по стенам и огромным киотом, полным темных ликов в серебряных венчиках, в красном углу. И самовар у Галактиона был господский – пузырем, красной меди, и чай – с цветочками, и ром – из губернии, а не от Федулки Пихры. Сам Галактион был еще кулаком-патриархом, на деревенский лад, но сыновья его, – их было четверо, – уже тянули к городу во всем: в платье, в разговоре, в подборе компании, в манерах и взглядах. Деревню презирали, в мужике видели батрака, повинного работать в ихней кабале до конца дней своих, и глубоко огорчались, что старик Галактион, по старине, не хотел торговать ни землею, – грех, потому что Божья, ни водкою, – грех, потому что сатанинская. Все – словно ястреба: сухие, жилистые, востроносые, лица худые, скуластые, с красным подтенком, глаза серые, пристальные, быстрые. Силачи – на подбор. Старший, Виктор, играючись, взваливал на спину десятипудовый куль муки – и несет, бывало, через всю деревню к нам в усадьбу... добрых три четверти версты по косоугору! Воображаю, как сладко пришлось Савке, когда эти парни приняли его в четыре вожжи. Молодых Комолых на деревне побаивались.

– Строгие ребята! – говорили о них.

Имена Галактионова потомства были – по крестьянству – удивительно громкие: Виктор, Валериан, Аврелий, Евгений, а дочери – Валентина, Маргарита и Юлия.

– Что это, Галактион Игнатьевич, вздумалось тебе накрестить их так чудно? – спросил я как-то.

Он отвечал с досадою:

– Кабы я? Мисайловекий поп начудачил. Опосля Вихторки, как родила старуха Левантину, я было молил его: назови, батя, девку по бабушке, Лепестиньей. А он – не в добрый час – как затопает на меня: «Господи! – говорит. – Ты один видишь, сколь я от ихнего невежества страдаю... Даже и называться-то по-людски не хотят! Не Лепестинья, дурак! – такого имени и в святцах нет, язычник ты этакий! – но Епистимия, мученица, память же ее празднуется новембрия в шестой день, а канун кануна Михайлова дня... рассуди же, говорит, сам: как я возьму на душу такой грех – нареци дочери твоей имя, которого ты, по сероте своей, и выговорить путем не умеешь?..» И назвал девку Левантиною; это, говорит, имя благородное, означает «сильная

духом», и во всех книгах о том пропись прописана. Ну – что ж? Мне с попом не спорить: у попа книга. Левантина так Левантина! Оно – ничего: имя ситцевое, для девки живет...

Впоследствии я познакомился и сдружился с мисайловским батюшкой – отцом Аркадием Дилигентовым. Он оказался превосходнейшим человеком и действительно чудачком, единственным в своем роде. Кончая семинарию, он увлекся театром и чуть было не ушел в актеры. Родители пришли в ужас и поклонились владыке – поскорее дать молодому человеку место и невесту.

– Да ведь он первым кончил, – изумился владыко, – ему бы в академию...

Но, узнав, какая блажь влезла в голову Дилигентова, внял – и положил резолюцию:

– Ничем нелепствовать, послужи-ка честному алтарю.

Поп из Аркадия вышел хороший – смирный и бескорыстный, но со «слабостью». Мужики его хвалили: «просвещенный поп». В свободные от «слабости» промежутки о. Аркадий по целым дням лежал у пруда, с удочкою, уткнув нос в книгу. Читал он массу – и все помнил, точно фотографировал в мозгу. Подвыпив, чудесно играл на скрипке старинные полонезы Огивского. Расстроив себя до слез их меланхолическими звуками, Аркадий усаживался на крыльце своего домика и взывал на все село:

Из-за Гекубы!!!
Что ему Гекуба?
Что он Гекубе?!

Эти декламационные экстазы дали непочтительной пастве повод прозвать самого о. Аркадия – Якубою.

Чем питался Якуба, оставалось загадкою, не легче способов прокормления нашего Хомутовского «государственного совета». В хозяйстве он был лентяй, в пастырстве бессребреник. К счастью, он был вдов и бездетен. Бог знает, как и когда этот беззаботный человек успел, однако, обучить грамоте почти все Мисайлово. Как, бывало, заметишь парня или девку посмышленнее, – так и знай, что из Мисайловки, – выученики о. Аркадия. Служил «просвещенный поп» трогательно, часто в слезах. Меня изумляла его память: он знал наизусть все драмы Шекспира, все трагедии Шиллера, всего Пушкина, свободно цитируя стихов по триста подряд. Поэтическая начитанность развила в нем несколько комическую слабость к красивому звуку; скитаясь по околотку, я убедился, что о. Аркадий облагородил имена не в одной семье Галактиона: в каждом доме – Лидии, Клавдии, Зинаиды, Зои, Антонины... нашлась даже Цецилия, из которой – увы! – деревенское неведение выкроило-таки довольно конфузное уменьшительное...

Галактион держал дочерей строго. Мать не спускала с них глаз ни в поле на работе, ни в гулянку на улице. Девка во дворе под навесом доит корову, а материнский глаз следит за нею из окна, не зубоскалит ли она через плетень с парнями... Впрочем, девушки и сами были не из приветных: чванные славою богатых невест, надутые, недотроги. Левантину, которая считалась в семье и на деревне красавицею, Савка недаром обзывал бесчувственным стоеросом. Лишь в замоскворецких купеческих теремах да между левантинками Босфора встречал я потом женщин, настолько полных тупой, животной-скучной надменности, самодовольства и самообожания. Диво, что зародилась такая в крестьянстве, хоть и в кулаческой семье, лезущей в купцы и на купеческий лад настроенной.

– Чуден вид Левантины, – декламировал Мерезов, – в воскресное утро, когда, пышная, она несет себя на мисайловский базар, подобно драгоценному и хрупкому сосуду.

Прослыть красавицей Левантина могла лишь в невзыскательной приокской деревне. Так – рослая, белотелая, раскормленная девка, с желтою косою до пояса и бледными глазами «по ложке» на круглом лице. Но было-таки что-то влекущее в этой сытой двуногой телке: молодежь по ней убивалась, Савка из-за нее допустил отодрать себя вожжами... Зато женщины

ненавидели Левантину. Каждый раз, что мы пили чай у Галактиона, – а что грех таить? охота поглазеть на Левантину была главною приманкою этих чаепитий, – на другой день Анютка топотала пятками и швыряла дверьми особенно громко, мела полы особенно пыльно и сорно, юбки отказывались ей повиноваться с учащенною бесцеремонностью, а наплаканные глаза окружались красною опухолью.

На Петров день Хомутовка здорово гуляла. Мы с Мерезовым ехали в беговых дрожках, на утичий перелет, сквозь совершенно пьяную деревню. К нам привязался Артем Крысий, бобыль с Подшиваловских выселков, версты за две от нас. Вино повергло этого парня в весьма горделивый припадок.

– Великий я человек! – голосил он, – первый по уезду! И бабы меня любят! Ваши благородия! честь имею поздравить, каков я человек! Пожалуйте на двадцатку, – вот я каков человек!

Улица в Хомутовке сыпучая, косогор. Дрожки вязли, наш мерин ступал шагом. Крысин – длинный и тощий, с маленькою головкою, точно скворечницею на шесту, – бежал рядом с дрожками.

– Пожалуйте на двадцаточку, – трещал он, мигая желтыми глазами так проворно, что казалось, будто они прыгают по его бесцветному лицу. – Господа премудры: могут понимать Крысина. А мужик дурак. Мужик водит к Крысину овцу – червя сводить. Крысин слово знает. Мы под Плевною, за генералом Ганецким, в землянках животами болели. Сорок товарищев померло, а я – вот он. Потому положил на себя такой урок, чтобы не помирать. Я слово знаю. Отчего, опять говори, меня бабы предпочитают? Теперича, скажем, полюбилась Крысину отецкая дочь: наша будет и на гостинцы не потратимся. Я слово знаю. Ваши превосходительства! извольте приказать Крысину, какую девку в Хомутовке он добывать должен?

– Вон – попробуй: добудь эту! – расхохотался Мерезов.

Мы ехали как раз мимо Галактионовой избы. Нарядная Левантина сидела у ворот с Маргаритою, Юлькою и тремя подружками.

Крысин воззрился:

– Которую? – толстую-то? белоглазую?

И вдруг, нелепо раскинув руки, ринулся к девушкам неверным, пьяным бегом, вопя:

– А-х! кого ж девки любят? кого красные голубят? Артемия Крысина... и со чады его!

Девушки с хохотом и визгом пустились наутек. Крысин споткнулся, упал на живот и не смог подняться. Он долго что-то бормотал, поминая Левантину, которая между тем, стоя в калитке, не удостаивала поверженного пьяницу даже взглядом. Она лущила подсолнухи, доставая их из передника, розового, как рукава ее рубахи, как ее волосы и шея, в румяных лучах вечерней зари... Мерезов инда языком щелкнул:

– Экий кусок – девка!

Мол – женись, мол – женись,

А то лучше отвяжись! –

запел я ему из «Вражьей силы». Каюсь: по тогдашней юности лет моих, я наблюдал флирт, которым мой друг преследовал Левантину, не без тайной зависти и довольно ехидно утешался полною безуспешностью его ухаживанья.

Когда к нам в усадьбу наехал наш частый гость и неизменный обыгрыватель, земский врач, Галактионова старуха привела Левантину попросить средствца: девка мается гнеткою.

– Ты красавица, видно, студено напилась на сенокосе? – спросил доктор. – В сенокос у меня все такие больные. Хватит, сгоряча, потная, родниковой водицы, – и готова.

– Не... – протянула Левантина. – Я воды не пила. Кваску точно хлебнула намедни, как дометывали копны. Одначе теплый был, квасок-от...

– Ну, верно, квас у тебя нехороший.

– Не: наш, на погребу, дюжо удался... Я чужой пила... Артемка подшиваловский у соседей в помочи работал: увидал, что мы с Маргаритой запарились, угостил из бурака. Маргарита попробовала, ей не по вкусу пришлось, выплюнула. А мне больно пить хотелось, – одолела полбурака. Точно, что кислый, ровно бы с мутью.

Доктор дал Левантине опийной настойки, велел пить мяту, и девушка быстро оправилась.

Выхожу одним утром к чаю – на великий спор.

– Вообрази, – встретил меня Мезезов, – министры уверяют, будто *notre belle et toujours charmante Levantine*³ болела – *passons le mot!*⁴ – пузом неспроста.

– Знамо, неспроста, – горячо подхватила Федора, – с чего ей болеть, кабы не лихой человек? Все пьют квас в поле, и Левантина сколько раз пила, а ничего, не болела! Девка – печь: от кваса ли ей подеется? Нет, ты, Василь Пантелеич, не спорь: тут не без наговора. Мы тоже на миру живем – не глухие: слыхали от людей, что Артем на Левантину намерялся... Да и мудренное ли дело? Нетшто ему, коновальской совести, первую девку портить?

– Стало быть, он у вас колдун? – спросил я.

– Колдун не колдун, а знает.

– Что знает?

– Уж это ты его спроси: я с ним вместе не ворожила.

– Так-то, – вступилась Анютка, – он третьим летом обвел дьячиху в Мисайловке. Тоже спервоначала заболела, а потом, глядь, и скрутилась... Срамота! Средь бела дня к нему бегала.

– Дьячок-то Артемке в ноги кланялся, – гласила Федора, – помилосердствуй, Артем Филипыч, отпусти бабу на волю, развяжи от греха. Три рубля слушил с него Артемка в ту пору, чтобы снять свою порчу с дьячихи: вот оно как было крепко завязано.

Я заметил:

– Если бы дьячок проучил хорошенько и жену, и Артема, дело, пожалуй, обошлось бы и без трех рублей.

– Ишь, тебя не спросили – сами не догадались! – огрызнулась Федора. – Ты спроси дьячиху, чего не приняло ее белое тело. Муж ее в кадку сажал да в кадке по всей Мисайловке катал: вот как она мало учена! Убил бы, пес, бабу, кабы отец Аркадий не заступился.

Мезезов обратился ко мне:

– Ты скучал, что в деревне мало романического элемента. Бог посылает тебе на шапку Демона, который сводит червя с овец, и Тамару, которую катают по селу в кадке. И как тебе нравится таксирование супружеской верности в три рубля... в целых три рубля? Федора говорит о них с благоговением.

Вскоре все бабы на Хомутовке шептались, что «Артем намеряется», и предупреждали о том самоё Левантину. Но «стоерос бесчувственный» и тут не изменил природной гордыне и, на слова доброжелательниц, только презрительно отплевывался.

А затем произошло вот что.

Старший Галактионов сын Виктор ставил на Оке вершу; возвратясь к ужину, он рассказал, что рыбаки из Введенского, ближней деревни, крепко побили Артемку Крысина.

– Вишь ты, подглядели они, как он правил на Оке свою ворожбу. Разделся в лозняке, будто купаться, взял краюху хлеба и трет себя краюхою по голому телу, а сам причитает. Введенцам это не показалось. Зазвали они Артемку в кабак, – стаканчик, другой, стали выспрашивать: видели мы, Артемий Филипыч, твои чудеса; скажи, сделай милость, зачем ты уродуешь такое над собой? А он, с пьяных глаз, и хвастни: я, говорит, стану тот хлеб в квасу мочить, а

³ Наша прекрасная и всегда очаровательная Левантина (фр.).

⁴ Прошу прощения за выражение! (фр.).

квасом девок поить, и которая выпьет, та будет любить меня пуще отца-матери. Тут введенцы и приложили к нему руки: диво, как он, пряткий нехристь, цел ушел.

Пока Виктор говорил, вся сидевшая за ужином семья уставилась на Левантину, пораженная одною и тою же жуткою мыслью. Все сразу поверили, что Левантина испорчена, и она сама поверила. Она сидела белая, как плат, с бессмысленными глазами. Потом бросила ложку, схватилась за грудь, порывисто встала из-за стола, опять села и опять встала.

– Я... квас-то... пила, – прохрипела она, и с нею сделались корчи. Целую ночь она билась в истерическом припадке, не унимаясь ни от воды с уголька и громовой стрелки, ни от раствора четверговой соли, ни даже от свяченой вербы, которою, в усердии, сильно исхлестали плечи, спину и живот больной.

II

Поутру мы, оповещенные молвою, зашли к Галактиону взглянуть на порченую. Старик встретил нас очень встревоженный; рябоватое лицо его было красно, потно и пестро от постоянного утирания рукавом. Левантина, успокоившаяся лишь засветло, проснулась незадолго до нашего прихода и сидела еще в сонной одуре. Остальная семья, кроме старухи-матери, была в поле.

– Что с тобою, Валентина?

Она подняла глаза.

– Ничего-с...

– Как ничего? А припадок? Да ты погоди, не хнычь!.. Болит у тебя что?

Она потерла рукою около сердца.

– Тут сосет... и ровно бы подкатывает.

Очевидно, Левантину душил *globe hystérique*⁵.

– Вот и верь наружности! – заметил Мерезов, – кто бы мог думать, что ты нервная.

– Чего-с?

– Пуглива очень.

– Как не пужаться, батюшка? – застонала старуха-мать, пустив обильные потоки слез по морщинистым щекам, – экое, злодей, горе навел на девку... срам в люди выйти.

– Полно врать, Анна Матвеевна, – перебил Мерезов. – Никто ничего на нее не наводил; эта болезнь самая обыкновенная, называется истерией. Если вы все, а в особенности ты сама, Валентина, не будете уверять себя в глупостях, так она пройдет без всяких лекарств.

Старуха слушала и качала головою, с откровенным недоверием. Галактионов поддакивал:

– Так-с... вот оно что-с...

Но уже по конфузливой суетливости, с какою он обдергивал на себе рубаху, я видел, что он поддакивает только из вежливости, не верит ни в одно слово Мерезова, и барин, по его мнению, говорит великие глупости. Левантина сидела в оцепенении, точно речь шла не о ней. Я сбегал в усадьбу за гофманскими каплями. Левантина проглотила лекарство с неохотою: зачем, мол? все равно не поможет...

– Прошло?

– Нет, сосет.

А у самой глаза все больше и больше выцветают под серым налетом суеверного ужаса. Так мы ее и оставили, в предчувствии нового припадка и в молчаливой, но твердой вере в свою порчу. Повстречали Виктора: едет зверь зверем на сенном возу. Скатился на землю.

– Что, господа, слышали наши дела хорошие? Я, Василь Пантелеич, теперь в одной надежде – переломать подлецу Артему ноги колом.

– А я, Виктор Галактионыч, посоветую тебе – не горячись. Изуродовать человека и попасть за это в острог недолго. Я было думал, что ты, как парень грамотный, бывалый, не веришь пустякам. Но уж если и ты поддаешься этой дури, постарайся покончить дело миром, без насилия. Если ты считаешь Артема способным посадить болезнь в женщину, то он должен уметь и снять ее обратно. Поговори с ним.

– Барин хороший! как я буду с ним говорить, коли у меня сердце кипит? Я было уже искал его сегодня... с колом-то... Догадлив, треклятый: ударился в лес, будто за дровами... Да нет, брат, шалишь! у нас не отбегаешься! найдем! Девки портить... это что же такое?

– Ну, если ты не можешь спокойно перетолковать с ним, давай, я поговорю.

⁵ Здесь: припадок удушья (фр.).

– Благодарствуйте, – подумав, сказал Виктор. – Известно: вас он лучше послушает. А ваша, Василь Пантелеич, правда: хоть мы много обижены, худой мир лучше доброй ссоры. Если ему, собаке, надо сорвать с нас денег, вы, барин, обещайте, не скупитесь: тятенька для Левантини не пожалеет...

– Хорошо... Хотя – вместо денег, не пообещать ли ему лучше урядника?

– Урядником ли, за деньги ли – только, чтобы он нашу девку освободил. А не то – не быть ему, смердюку, живу. Так и скажите. Я, брат, шуток-то не очень уважаю.

– Ишь какой Валентин своей собственной Маргариты! – засмеялся Мерезов, провожая Виктора глазами. – Ты посмотри, как он сидит на возу: даже в спине чувствуется угроза. Конечно, я говорил очень благоразумно, но, сказать откровенно, было бы превесело сравнить его с Артемкою.

– Черт знает что лезет тебе в голову, Василий Пантелеич! Убийства захотелось!

Мерезов покраснел.

– И представь: совершенно искренно, – проворчал он, – Вот оно, одичание-то. У людей горе, а ты пуще всего боишься, чтобы оно не разошлось пустяками и не пропал для тебя трагический анекдот.

Мы отправили Савку на поиски Артема. Пришел Галактион: Левантине опять было нехорошо. Он просил у Мерезова лошади – доехать девке с матерью до Мисайловки.

– Хочешь свести к фельдшеру? Хорошее дело.

– Я так полагаю: не лучше ли к батюшке? – замялся Галактион.

– Покажи и фельдшеру, и батюшке; в один конец коня-то гонять. Но как же Левантине ехать вдвоем со старухой? Твоя Матвеевна – тоже сосуд скудельный; я думаю, сама не помнит, когда была здорова. Если с больной случится в дороге припадок, она и помочь не сумеет.

– Что поделаешь, Василь Пантелеич! Горячая пора: больше посылать некого. Сено свозим. Все: и люди, и лошади – в лугах. У меня своих четыре коня, а вот пришел кучиться твоей милости насчет меренка. Жарынья парит... не дай Бог скорого дождика: стноит весь сенокос. Вот и поспешаем, как в котле кипим. И то горе, сударь, что Левантина занедужала: две руки вон из поля... как других-то отнимешь от работы?

– Саша, – сказал Мерезов, – мы давно не были у отца Аркадия. Не проехать ли за компанию?

Я не имел ничего против. На прощанье Мерезов долго внушал Галактиону, чтобы он присматривал за Виктором и не допустил сына до какой-нибудь мстительной дикости.

– Слушаю, батюшка, – печально согласился старик.

До Мисайловки считалось верст восемь. Больную с матерью усадили в телегу на сено. Мерезов правил. Я сел на облучок. Едва телега тронулась, Левантина почти тотчас же задремала. Я следил за нею. Она, заметно, грезила. Мало-помалу ее сонное и при сомкнутых глазах грубоватое лицо оживилось улыбкою – чувственной и самодовольною. Губы раскрылись, на щеках разыгрался тяжелый румянец. Сон забирал ее глубже и глубже. Она начала бормотать. Мерезов оглянулся и головой тряхнул: очень уж привлекательною показалась ему Левантина с этим новым для нее страстным выражением в лице, с таинственным лепетом на губах... Вдруг она вскрикнула, взметнулась и – сразу все лицо и шея в поту, как в бусах, – села в телеге, дико озираясь мутными глазами.

– Привиделось что-нибудь страшное? – спросил я.

Она прошептала:

– Не...

Но потом, утирая лицо передником, прибавила:

– Так... мерезжит...

– Что мерезжит? – не понял я.

– Нечто... маячит...

- Коротко и неясно! – проворчал Мезеров, постегивая кнутом меренка.
- Ты не бойся: это от дурноты, – утешил я Левантину. Она молчала.
- Под ложечкой все томит?
- Томит.

Мы огибали хомутовский крестьянский лес. Левантна шепталась с матерью, вероятно рассказывая ей свой сон, и, должно быть, очень страшный, потому что худое лицо Матвеевны вытянулось выражением мертвого ужаса; она охала и крестилась. Глядя на встревоженную мать, Левантина распустила губы и захныкала без слез, но с ревом, словно блажной ребенок. Она завывала до самой Мисайловки, но, въезжая в околицу, сразу оборвала свою волчью музыку и утерла кулаком сухие глаза.

Мы издали слышали широкий разлив скрипичных звуков. О. Аркадий встретил нас уже слегка в настроении Гекубы.

– Откуда вы, эфира жители? – завопил он и не хотел ничего слушать о деле, пока не угостил нас водкою и таранью. Мы объяснили, зачем приехали. О. Аркадий слушал на ходу, бегая по своему маленькому зальцу из угла в угол, широко вея полами парусинного полукафтаныя и рыжею бородищею, которую он сам называл «небесною метлою». Потом стал в позицию, таинственно сощурил зеленоватые глазки и зачитал:

Но слушай: в родине моей
Среди пустынных рыбаей
Наука дивная таится.
Под кровом вечной тишины,
Среди лесов, в глуши далекой
Живут седые колдуны;
К предметам мудрости высокой
Все мысли их устремлены;
Все слышит голос их ужасный,
Что было и что будет вновь,
И грозной воле их подвластны
И гроб, и самая любовь.
И я, любви искатель жадный,
Решился в грусти безотрадной
Наину чарами привлечь
И в гордом сердце девы хладной
Любовь волшебствами зажечь.

Он окинул нас торжествующим взглядом, щелкнул языком и подбоченился.

- Каково прочитано, ребята?
- Отлично, батя: хоть бы Александру Павловичу Ленскому.
- Ага! меня Николай Карлович Милославский, Василий Васильевич Самойлов, Иван Васильевич Самарин, Николай Хрисанфович Рыбаков слушали и одобряли... А я сию, как пень, в Мисайловке, и ко мне возят отчитывать порченных девок! Я царь, я раб, я червь, я бог! Слушайте, братцы!

Он схватил скрипку и запил по струнам с диким воодушевлением. Мезеров нахмурился:

- Ты, Александр, недавно попрекнул меня, что я ничего не читаю, – заговорил он. – Вон – ответ тебе, полюбуйся: хорош наш Гекуба?
- Чтение-то при чем?

– При том, что я глупостей не чтец, а умная животворная книга порождает волнения, опасные для нашего брата, слабохарактерного человека, заброшенного на дно колодца... Помнишь, как у Щедрина меринос захирел и издох оттого, что увидел во сне вольного барана? Мы, брат, тут тоже мериносы в своем роде. Прозябаем и так и сяк, пока спит мысль, пока чужая далекая жизнь не видна и не завидна. А чуть растормошил себя – и окружают тебя насмешливые и укоризненные призраки, и... и сам не заметишь, как либо сопьешься, либо удавишься.

Мерезов спохватился, что говорит с чрезмерным волнением, и перешел в свой равнодушно насмешливый тон.

– А мне жизнь дорога, и водка здешняя не нравится. Поэтому – черт с ним, с вольным бараном! Пускай его Гекуба видит... Хочешь, я покажу тебе, откуда его «слабость»? Вот он лежит, корень-то зла.

Мерезов кивнул на толстую книгу, забытую на подоконнике. «Шопенгауэр. Мир как воля и представление», – прочитал я на корешке.

– Это ты верно! – торжественно возгласил о. Аркадий, опуская скрипку. – С него началось, с Шопенгауэра. Ибо он меня сперва огорчил, а потом вознес.

– Всякий раз запивает, когда проглотит книгу себе по сердцу, – объяснил Мерезов.

Аркадий мотнул своею сверкающей бороною:

– Верно! Потому что тогда дух мой жаждет парить, а мысль расширяться, – горизонт же мой низок и узок, и вмещаться под него, без этого напитка, весьма огорчительно.

– Хорошо парение духом – к выпивке!

– Врешь, киник! подтасовываешь! Я не парю к выпивке, но выпиваю, скорбя, что парить бессилён.

– Ну, не пари, семинария несчастная! кому надо?

– Мне надо, ибо я не самоотчаянный киник и не эгоист, подобно тебе, погрязший в животном самосохранении, но любопытный и доброжелательный человеколюбивец, алчущий знания и надежд... «Духа не унижайте!», – сказал апостол.

– Пришибет тебя кондрашка – вот тебе и будет знание, – с досадою сказал Мерезов.

– Эх чем испугал! – равнодушно сказал Аркадий, набивая рот таранью.

– Смерть, стало быть, не страшна?

– Чего ее бояться? Я не троглодит, мню себя бессмертным быти. У Бога, брат, все на счету. Блажен раб, его же обрящет бдяща. Позовет Он мою грешную душу, – вот он я, Господи, весь, каков есть... со всем моим удовольствием.

– В таком-то неглиже, пожалуй, и неудобно явиться, – поддразнил Мерезов.

О. Аркадий невозмутимо отразил насмешку:

– Уж это – Его воля: каким позовет, таким и предстану. Грех мой со мною и вера моя, упование жизни моей, при мне. А Он, брат, благой – не нам чета, людишкам зложелательным, насмешливым и брезгунам... Он вникнет и разберет...

– Ты и мужикам это внушаешь?

Аркадий мотнул головою:

– И мужикам.

– То-то твоя Мисайловка вовсе с пути спилась!

Аркадий не смутился:

– Да ведь и ты вовсе с пути спился, а тебе я никогда ничего не внушал.

Мерезов не нашелся что ответить.

Я напомнил о Левантине и Матвеевне, ожидавших на крыльце. Мерезов поднялся с места:

– В самом деле, пойдём-ка, поп.

Я остался в комнате, убоясь солнечного пекла. На полочке под образами я заметил черную книжку, календарь-поминанье Никольского издания. От нечего делать я стал просматри-

вать длинный список друзей, сродников и излюбленных прихожан, записанных о. Аркадием за здравие и за упокой.

Мерезов возвратился: бабы пожелали говорить с о. Аркадием наедине.

– Что ты нашел? – спросил он, заметив улыбку на моем лице.

– Взгляни.

Под 7 апреля отец Аркадий записал: «Упокой, Господи, душу раба Твоего боярина Георгия (он же Гордей) из англиканских иноисповеданцев». Под 27 января был помянут боярин Александр, от супостата несправедливо убиенный. Иноверец-англичанин Василий предназначался к поминанию во все дни.

Мерезов расхохотался.

– Экий чудище! Ведь это он поминает своих любимцев лорда Байрона, Пушкина и Шекспира. Совсем дитя этот поп! даже трогателен. Батя! – обратился он к входящему Аркадию, – что ты чудишь? Вздумал молиться за упокой шекспировской души!

– Коли я его люблю?! – пробормотал Аркадий, опускаясь на стул.

– Смотри: дойдет до благочинного – будет тебе уже «иноверец Василий»!

Аркадий махнул рукою:

– Доходило... Сосед донес... Знаешь, емельяновский Вениамин, что в воротничках ходит и таксу за требы завел...

– Что же?

– Ничего. Благочинный вызвал в город. «Правда ли, говорит, будто вы молитесь за упокой иностранного писателя Вильяма Шекспира, именуя его иноверцем Василием?» – «Сушая правда, ваше высокоблагословение». – «Зачем же это?» – «Затем, что ежели я, любя сего писателя и желая ему небесного царствия, не помяну его, кто же другой догадается его помянуть? Молитва же и Шекспиру нужна, как всякому покойнику... Ну, благочинный – он у нас академик – принял мой резон... опять же каноническими правилами оно не запрещено... отпустил меня с миром. А Вениаминке – нос».

Мы возвратились в Хомутовку вдвоем с Мерезовым, без Галактионовых баб, потому что о. Аркадий приказал Левантине остаться до другого дня, на обедню и молебен об исцелении болящей. Ехали мы довольно мрачно. От жары и вина у Василья Пантелеича разболелась голова и разгулялись нервы.

– Проклятая судьба! – твердил он, – проклятое безденежье! Не угодно ли медленно издыхать в безвинной ссылке, в медвежьем углу, где еще привораживают девок и сантиментальный поп записывает в поминанье Василия Шекспира!

– Кто тебя держит здесь? Поезжай в Москву, возьми службу.

– На пятьдесят целковых в месяц? Спасибо.

– А тебе – чтобы прямо в рот летели жареные рябчики?

– Так воспитан – не перевоспитываться стать на тридцать третьем году. Разве определиться учителем хороших манер к коммерции советнику из бывших свиней? Говорят, недурно платят и хорошо обращаются: даже метрдротелем не зовут. Но ведь я все-таки Мерезов. Одного моего предка царь Петр повесил за ребро, другого Борис Годунов за шею, а третьего царь Иван посадил на кол. Как же мне, после кола, ребра и шеи, в прихлебатели к бывшей свинье-то? Еще эти висельники-предки начнут сниться по ночам... А пятьдесят рублей в Москве – одна игра ума, на голодный желудок. Здесь я, по крайней мере, сыт и – каков ни на есть – барин, а не пролетарий.

Артем поджидал нас. От перепуга, со злости, с недавних ли введенских побоев, он был желт, как пупавка.

– Изволили спрашивать? – хрипло спросил он, отвесив поклон и прыгая глазами то на меня, то на Мерезова.

– Изволили. Что ты, братец, наделал? А?

Артем воодушевился.

– Барин! ваше высокоблагородие! Сами судите – вы господин, разум имеете, наукам обучались – статочное ли дело взводят на меня наши сиволапы? Кабы я знал бабий приворот, нешто бы я был Артемка-боббль? Ступай бы прямо в губернию да полони самую богатейшую купчиху, со всем мужниным сундуком. Эка невидаль их Левантина, – глаза его блеснули враскос, – стану я из-за нее, белоглазой, губить душу, вязаться с нечистым! А Вихтарь Глахтионыч, между прочим, обещает меня извести... Господи! где же правда-то? Правда-то где, я говорю, Василь Пантелеич?

– Погоди, не трещи. Значит, ты не колдовал над Валентиною?

– Василь Пантелеич? Мудрый вы господин, наукам обучались: какое колдовство есть-живет на свете? Я – за генералом Ганецким – прошел наскрозь все Турещину; одначе и там видел колдунов не гораздо много, а больше ни одного. А они тут, идола, в лесу сидя, до колдунов додумались. Коновал я хороший – это точно. Лечу лошадей, коров, знаю такую молитву против овец, чтобы сгонять с них червя. А больше – хоть присягу принять – ничего мне не ведомо.

– Я, братец, и сам, без тебя, знаю, что колдунов не бывает на свете. Но видишь ли: кто, по суеверию своему, верит в колдовство и думает, что он околдован, тому может сделаться нехорошо, без всяких снадобий и наговоров, от одного воображения. Так, по моему мнению, заболела Валентина. У тебя скверная слава, что ты привораживаешь женщин... квасом, что ли, каким-то...

– Лопни глаза мои, напраслина, Василь Пантелеич.

– А помнишь, на Троицу ты сам похвалялся над этим?

Артем досадливо передернул плечами:

– Запаятовал, ваше высокоблагородие. Хмелен был. Мало ли что у пьяного язык болтает – голова не знает. Кабацкая хмелина сильна: захочет – головою о тын ударит.

– А за что побили тебя введенские мужики?

– Опять глупость ихняя, ваше высокоблагородие. У мужика с наших выселков – Мокеем зовут – захромал конь: наскосился в болоте на остролист. Я мастерил коню пластырь, а введенские дуrolомы выдумали, будто я готовлю питье для девок. Необразованность!

– Объяснение правдоподобно, – заметил мне Мерезов по-французски. – Однако он что-то лжет.

Мне тоже сдавалось, что Артем, хотя издевается над колдовством, сам верит в него глубоко – и только заигрывает вольнодумством с неверами-господами.

– Что меня произвели в колдуны, тут, ваше высокоблагородие, я должен сказать спасибо мисайловской дьячихе, с нее пошло... что она, выходит, была со мною в грехе. Но я тому ничем не причинен: она сама повесилась мне на шею. Не дубьем же было отбиваться от нее – не монах я. Народ видит, что баба дурит не путем, и загалдел: колдун Артемка, приколдовал дьячиху. А чего было колдовать? Вы, ваше высокоблагородие, видали ли дьячка-то? Мразь несуразная! От этакого мужа сбежишь и к водяному деду, не то что к Артемке... Насчет же колдуна я на народ не обижался; потому полагал так: пусть лаются, от слова не станется, а по коновальской части мне от этой славы, будто я колдун, даже большой фарт – верят крепче... Да вот и законовалил себе беду!

– Надо ее поправлять, Артем. Девка болеет оттого, что убеждена, будто ты ее околдовал. Значит, ты должен расколдовать ее, то есть выгнать из нее это убеждение. А сделать это очень просто. Завтра я приглашу сюда Галактиона, Виктора, самоё Валентину. Ты при них поцелуешь икону, что не имел, не имеешь и не будешь иметь злого умысла на Валентину и желаешь ей впредь доброго здоровья. Согласен?

Артем переминался с ноги на ногу – угрюмый, сутулый – и молчал, не поднимая глаз.

– Увольте, ваше высокоблагородие, – глухо пробормотал он наконец.

– Не хочешь? почему?

– Так... неподходящее дело...

– Странно, Артем, очень странно. Ты понимаешь ли, что своим отказом ты подтверждаешь подозрение Галактионовой семьи?

– Точно так-с.

– Ты подвергаешь себя большой ответственности и опасности.

Артем сделал плаксивое лицо.

– Я, ваше высокоблагородие, коли что, побегу к уряднику жалиться.

– А урядник, когда узнает, из-за какого дела Галактионовы ребята злобятся на тебя, отправит тебя к судебному следователю.

– Стало быть, погибать надо? – горько усмехнулся Артем. – Не в бессудной стороне живем, барин.

– Разумеется. Только мне сдается, что лучше бы тебе с Комолыми честью, без суда. Ты так опорочен, что на суде тебе придется плохо. Я не неволю тебя, поступай, как знаешь, но мое дело предупредить.

Долго длилось молчание.

– Нет, не могу я этого! – решительно воскликнул Артем. – Обидно очень.

– Твоя печаль.

– Хоть вы-то, Василь Пантелеич, не отступайтесь от меня, дайте сколько-нибудь защиты!

– Ну, брат, извини: я тебе указываю средство помочь делу, ты не согласен. Больше я ничего не могу придумать, чем тебя выручить. Будь что будет. Я умываю руки.

– Так-с...

Артем повесил голову.

– Больше я не надобен вашему высокоблагородию?

– Нет. Ступай.

Он шагнул к двери, почесал затылок и опять вернулся.

– Вот что, барин. Икону целовать я не стану. Дело не стоит того, чтобы беспокоить угодников. А – просто – скажите вы Вихтарю Глахтионычу, что – пес, мол, с ихней девкой! – я о ней и думать забуду, какая она. И он бы тоже свои дурачества оставил – насчет то есть дубья. Ну, и дары бы они мне прислали: должен же я за свой срам профит иметь; за многим не гонюсь, но чтобы честь честью.

На том покончили. Наши министры, узнав, что Артем обещал оставить Левантину в покое, решили хором:

– Врет.

– Время волочит, – объяснила Анютка, – либо выпить хочется: надумал сорвать с Комолых мало что на кабак.

– Не таковский парень, – трубила Федора, – чтобы отступаться от своего. Тоже непутные-то, которых он держит на послушании, не очень любят, коли хозяин заставляет их работать понапрасну, – сперва испорти, а потом поправь.

Савка поддерживал:

– Да и девка больно зазнобила его. Энта – как подждал он вас – разговорились мы по душам. Так у него, чуть помянешь Левантину, глаза светятся, ровно у волка. Плевать, говорит, я хотел на Вихтаря! Уволоку девку из-под носа у Комолых: моя будет. Не то что бить меня, – сами придут ко мне кланяться в ноги, чтобы взял Левантину замуж, снял срам с семьи. А дубье, говорит, нам не диво: не на одних девок – и на дубье бывают заговоры. Иной бы, говорит, и не встал после введенского бойла, а я – хоть пощупай – жив человек.

Однако Комолые поверили Артему. Анна Матвеевна послала ему кушак, шапку и рубль денег. Левантина успокоилась; истерики ее прекратились, как только она освободилась из-под

гнета суеверного страха. Дары Артем, как предсказала Анютка, немедленно пропил у Федулы Пихры.

– Что мало носил? – посмеялся кабатчик.

– Наносимся и других, почище, – хвастливо возразил Артем. – Теперь, брат, Комолые сидят у меня в кулаке: чего хочу, того прошу.

– Ты же, сказывают, снял наговор с девки?

– Ничего не скидывал, и невозможно его снять, потому – слово мое прибито крепко-накрепко... прямо сказать, прогвозжено. Так – даю девке прохладу: пушай отдохнет, пока ко мне с уважением. Опять же и господу с усадьбы просили: Артемий Филиппович! сильный ты человек! пожалей, не позорь Комолых!.. Я что же? Я, брат, добер: коли ко мне с уважением, я ничего, прощаю. Но ежели, заместо уважения, гордыбачат, сейчас произведу все действие назад. Вихторка у меня еще попляшет!

Эти пьяные похвальбишки дошли до Левантины: целительный эффект нашего вмешательства был убит ими наповал; девушка снова загипнотизировала себя страхом порчи.

Не прошло недели, как до нас дошли слухи, будто Левантина «ходит по ночам» и наемни совсем было ушла из избы, да, на счастье, проснулся Виктор и поймал сестру уже в сенях, когда она шарила дверную щеколду, чтобы выбраться на крыльцо. Окликнутая братом, Левантина закричала, упала и сильно расшиблась лицом о порог. Семья всполошилась. Левантина произвела на всех странное впечатление: она осматривалась, точно со сна, и, по-видимому, сама не понимала, как, когда и зачем она забрела в сени. На вопросы молчит – и лишь с усилием напоминает, что с нею было. Потом стала было нескладно вывираться, будто на улице больно опасно лаяли собаки, и она, тревожась за овец, шла проведать, нет ли какого лиха. За эту ложь – во всю ночь хоть бы одна дворняжка тявкнула – Галактион и Виктор сильно избili Левантину. Они предположили, что вся история с порчею, стоившая им стольких волнений, была надувательством и просто Левантина сама слюбилась с Артемкою и, столковавшись с ним, теперь бежала к нему на свидание.

– К Артемке шла, подлая? Сказывай!

Под братним кулаком Левантина упала на колени и простонала:

– Взмануло...

Разъяренный Галактион сшиб дочь на пол и истоптал ногами. Он убил бы ее до смерти, если бы Матвеевна не бросилась между озверелыми мужчинами и их жертвою:

– Что вы делаете, Ироды? за что увечите девку? Посмотрите на нее: нешто она в себе властная?

Левантина, голося, ползала у ног матери:

– Мамынька-голубонька! кабы я своею волею! Так вот весь день-деньской и тянет, и сосет. И во сне видится... манит, зовет: поди да поди!.. Стыдовая моя головушка! Убейте меня лучше, братцы родные, чем отдавать на этакое надругание! Не уйти мне, видно, от своей судьбы: достанется моя девичья краса постылому...

Если в этот раз у Виктора и Галактиона остались еще некоторые сомнения относительно искренности и болезненного состояния Левантины, то следующая ночь убедила их вполне, что девка в себе не вольна. Она разбудила семью глухими стонами. Зажгли огонь и увидели в окне не Левантину, но лишь половину Левантины: она высунулась до пояса во двор, но застряла в окне бедрами и, придавленная подъемною рамою, не могла двинуться ни взад, ни вперед. Виктор и Маргарита забежали со двора, чтобы протолкнуть Левантину назад в избу – и, заглянув в ее лицо, ярко озаренное месячным светом, ахнули: глаза Левантины были закрыты. Она продиралась сквозь окно и тянулась вперед руками – в глубоком сне, и, лишь когда Виктор громко окликнул ее, она, как в прошедшую ночь, жалобно закричала и не упала только потому, что не могла упасть. При пробуждении сердце у нее билось, как перепел в сетке, и все ее грузное тело ходило ходенем от частого и тяжелого дыхания...

Я, наслышавшись этих чудес, звал было Мерезова полюбоваться Левантиною «в фазисе сомнамбулизма», но он махнул рукою:

– Будет, повозились – и довольно... Там, брат, начинает сильно пахнуть уголовиной... Того гляди влопаемся свидетелями в скверную историю.

Действительно, Виктор ходил с нехорошими, зловещими глазами, Галактион – тоже, и оба были как-то неестественно спокойны. Мы слышали, что они побывали с жалобой на Артемку в волости и в стану и были жестоко осмеяны за невежество просвещенным волостным писарем и еще более просвещенным письмоводителем станового... Артем поднял голову и, пользуясь паническим ужасом к нему Анны Матвеевны, шантажировал старуху грабительски. Левантина – исхудающая, подурневшая, полубезумная – ждала каждой ночи как казни.

– Ништо, дочка, – шептала ей старуха, – ноне уснешь. Я таки ему, подлецу, снесла полтинничек в клубке ниток: обещал два дни не мучить... Только мужикам не сказывай: ругать станут, что деньги бросаю.

Однажды я стоял с Виктором, и он рассказывал мне, как они с отцом были в стану.

– «Дураки вы, дураки, а еще умные люди! – сказал нам письмоводитель, – это не порча, а липносиз... Супротив же липносизу законов еще не написано, да и суд ему не верует, потому дело темное, внове». Так мы и пошли назад с липносизом!

В это время Артем прошел мимо нас с нахальной усмешкою. На лице Виктора хоть бы одна черточка дрогнула; он даже не взглянул на своего врага. Для такого гордого и гневного человека это было странное поведение. Очевидно, Виктор что-то удумал – и крепко... Я заметил, что вся Хомутовка смотрит на Комолых с тем же боязливым предчувствием скорой и неизбежной беды над этим домом, как и Мерезов; от них заметно сторонились.

А между тем нервная атмосфера, внесенная в семью болезнью Левантины, оказывала свое действие на впечатлительную и суеверную среду: припадки Левантины отразились, хотя в слабейшей степени, на Маргарите и Юльке...

Днями тремя позже того, как завыкликала Юлька. Введенские рыбаки, ведя невод под Кувшинным Яром, выволокли из Оки свежий труп Артема Крысина, Полчерепа было снесено.

Виктора арестовали и выпустили: он, как все Комолые, доказал свое alibi в ночь смерти Крысина. Не имея других подозрений, следствие признало Артема жертвою несчастного случая. Кроме разбитой головы, тело не носило боевых знаков. А голову Артем, очевидно, разбил о сваю, близ которой был найден. Кувшинный Яр такое местечко, что сорваться с него в Оку немудрено даже трезвому и днем, – только зазевайся; а в последний раз Артемку видели сильно навеселе, и уже в глубокие сумерки. Он собирался идти домой, на Подшиваловские выселки, и именно береговою тропой. Федул Пихра даже предупреждал его, что тропа на Кувшинном Яру, пожалуй, неладна, так как днем была сильная гроза и размочила глину, – не случилось бы оползня.

Все эти подробности писали мне уже в Москву Мерезов и о. Аркадий. Последний прибавлял: «А все-таки она вертится! как сказал судьям своим премудрый и несправедно обвиненный философ и астроном Галилей. Артемий не утонул, но утоплен, – и, разумеется, никем другим, как Виктором Комолым. Такова общая молва, и мое личное убеждение. Но утоплен не самовольно, а с тайного разрешения Хомутовского мира, которому Комолые поклонились о суде, когда не нашли его в других местах. Они указали старикам, что Артемий – враг не только их семьи, но и общественный; что теперь он позорит и разоряет их двор, а потом разлакомится и начнет шастать, как коровья чума, по всей деревне. Мир принял резоны Комолых, выдал им Артема головою и покрыл убийство, как не Викторов, но мирской грех. Любопытно, хотя и неистово, что, трое суток спустя по предании земле Артемкина праха, найден был на могиле осиновый кол, вколоченный столь глубоко, что, не могли его извлечь, должны мы были лишь подрубить дровяко сего знамени невежества вровень с землею. И кто же оказался виновником одного святотатства? Дурачок мой, псаломщик Евдоким, возмечтавший, что покойник, как кол-

дун, будет вставать из могилы, дабы мучить его и жену его, находившуюся когда-то с Артемом в непозволительных отношениях. Таково-то жестоки наши нравы».

Из кратких записок Мерезова и из пространных философствований отца Аркадия я последовательно узнавал, что Галактион женил Виктора, Левантину выдал замуж за писаря – того самого, который отрицал старинную порчу в пользу модного «липносиза», – и чрез это забрал еще большую силу в округе; что Савка с ноября – солдат; что рябую Анютку, о Святках, в два дня убрал дифтерит и что Мерезов, сверх всякого ожидания, был очень поражен ее смертью: струсил, заскучал и с той самой поры частенько запивает. Потом письма стали приходить реже, и наконец деревня вовсе замолкла. Год спустя, зимою, проезжая в Киев, я не поленился сделать двести верст крюка, чтобы проведать Василия Пантелеича. Увы! он встретил меня хмельной и проводил хмельной; опух, обрюзг и... поглупел. Прежний мрачный юмор его оставил; шуточки выходили плоские, натянутые, либо тошнотворно сальные. Вместо Анютки и Савки, по хозяйству тормозились какие-то грязные и ленивые сморчки. «Государственный совет» частью вымер, частью вовсе обессилел – и валялся, в голодном полузабытьи, по плохо топленным печкам и лежанкам, ожидая, скоро ли Господь пошлет смертного ангела по их стариковские души и избавит их от собачьего житья.

Зато Федора потолстела чуть не вдвое, рядилась, жила уже не в людской, а в комнатах, имела вид гордый и повелительный, кричала на прислугу. Разве слепой не заметил бы, что она полная хозяйка в доме и Мерезов попал под ее тяжеловесный башмак. Я прожил в Хомутовке два дня.

– Заезжай как-нибудь еще, – угрюмо проводил меня Мерезов. – На подножный корм... попаси Навуходносора...

Но нам не суждено было свидеться снова. Осенью следующего года о. Аркадий телеграфировал мне, что Василий Пантелеич застрелился, оставив в объяснение своего самоубийства всего три слова: «Сыт по горло».